

# СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ирина Прохорова. От издателя</i> . . . . .	7
<i>А. М. Зотова. О Михаиле Гаспарове</i> . . . . .	10
<i>Н. П. Гринцер, М. Л. Андреев. Сложная «простота» Михаила Гаспарова</i> (Предисловие к I и II томам) . . . . .	14

## **ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ**

От сочинителя . . . . .	29
Часть первая. Греция становится Грецией, или До закона было предание . . . . .	31
Часть вторая. Век семи мудрецов, или Греция открывает закон . . . . .	82
Часть третья. Греко-персидские войны, или Закон борется с самовластием . . . . .	129
Часть четвертая. «Кто не был в Афинах, тот чурбан», или Закон раздваивается . . . . .	179
Часть пятая. Последний век свободы, или Закон бьется в противоречиях . . . . .	237
Часть шестая. Александр и Александрия, или Греция подводит итог . . . . .	299
Вместо послесловия. Напоминание о мифологии . . . . .	363

## **ОБ АВТОРАХ И ЖАНРАХ**

Неполнота и симметрия в «Истории» Геродота . . . . .	371
Древнегреческая хоровая лирика . . . . .	378
Строение эпиникия . . . . .	398
Поэзия Пиндара . . . . .	433
<i>Пиндар. Оды (1-я и 6-я Олимпийские, 1-я и 4-я Пифийские)</i> . . . . .	453
Древнегреческая эпиграмма . . . . .	480
<i>Древнегреческая эпиграмма. Пиндар, Ваххилд, Еврипид,</i> <i>Платон, Аристотель, Эсхрион, Антипатр, Мелеагр</i> . . . . .	506
Сюжетосложение греческой трагедии . . . . .	511
Еврипид Иннокентия Анненского . . . . .	545
Начало «Ифигении в Тавриде» Еврипида . . . . .	557
<i>Еврипид. Электра</i> . . . . .	566

**ОБ ОДНОМ ЗАНИМАТЕЛЬНОМ ЖАНРЕ**

Античная басня—жанр-перекресток . . . . .	607
Басни Эзопа . . . . .	627
Две традиции в легенде об Эзопе . . . . .	658
Сюжет и идеология в эзоповских баснях . . . . .	667
Эзол. Басни (4, 8, 14, 15, 31, 33, 89, 91, 100, 109) . . . . .	683
Федр и Бабрий . . . . .	686
Социальные мотивы античной литературной басни (Федр и Бабрий) . . . . .	709
Стиль Федре и Бабрия . . . . .	732
Федр. Басни (I. 2, I. 3, II. 5, III. 19, IV. 23) . . . . .	741
Бабрий. Басни (10, 12, 15, 16, 22) . . . . .	745

**О ЛИТЕРАТУРЕ В ЦЕЛОМ**

Эллинистическая литература III–II веков до н.э. . . . .	751
Аристотель. Поэтика . . . . .	794
Филодем. О стихах. Книга V . . . . .	833

## ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Сила гравитации большой личности неизбежно порождает вокруг себя мифологическое поле—недаром М.Л. Гаспаров давно стал героем саг и легенд гуманитарного сообщества. По тем же сложным мифотворческим канонам был организован и научный универсум Михаила Леоновича. В этом интеллектуально насыщенном пространстве обитало несметное количество исторических и литературных персонажей, временной и пространственный диапазон определялся категориями вечности, а художественная креативность и строгая эмпирика сливались в причудливом симбиозе.

В этой модели вселенной, однако, трудно вычлениить авторитарную мыслительную вертикаль: в ней нет ни древа мира («великой идеи»), ни пресловутого краеугольного камня («главного труда жизни»), на основании которых ученого можно было бы залучить в компанию пророков или учителей жизни. Пространство, сотворенное Гаспаровым,—это конгломерат самостоятельных и часто самодостаточных территорий научной мысли, часть которых успешно им колонизирована, а часть лишь обозначена пунктиром.

Не случайно Михаил Леонович при всей его многолетней безупречной профессиональной репутации стал для общегуманитарной среды знаковой фигурой именно в 1990-е годы. Его протеическая способность ускользать от диктаторских претензий «научных школ» и монологических концепций, его виртуозное владение различным профессиональным инструментарием и жанровыми категориями во имя расширения и обогащения научного поиска—эта жизненная стратегия стала для отечественных гуманитариев, ищущих свой путь в стремительно трансформирующемся культурном пространстве, и путеводной звездой, и интеллектуальным вызовом.

Масштаб личности ученого, широта его диапазона исследований, его научного и культурного кругозора поставили перед составителями его посмертного собрания сочинений непростую задачу. Как в ограниченном объеме 6 томов передать всю многогранность научного наследия Гаспарова и в то же время впервые сформулировать основные направления его исследований? В результате бурных и плодотворных дискуссий члены редколлегии проекта пришли к выводу, что при всех метаморфозах академической деятельности

Михаила Леоновича в ней можно уловить главные смысловые линии его творчества, коими, по их мнению, можно считать следующие:

- историю античности и средневековья,
- историю и методологию науки,
- стиховедение,
- историю русской поэзии,
- переводческую деятельность.

Именно эти основные характеристики его деятельности предопределили содержание каждого из томов. Уникальность и научная ценность концепции собрания сочинения М.Л. Гаспарова, предложенной составителями, заключаются в том, что:

А) тома формируются вокруг «смыслообразующих» монографий (том о Древней Греции откроется «Занимательной Грецией», в том о переводах будет включена монография «Экспериментальные переводы», в том о русской поэзии — «Метр и смысл», том об истории и методологии науки завершится «Записями и выписками»);

Б) в каждом томе просветительские тексты на равных правах соседствуют с академическими штудиями.

Хотелось бы более подробно остановиться на второй особенности данного проекта, поскольку сосуществование в одном пространстве научных и популярных текстов явно противоречит общепринятой жанровой иерархии письма и, казалось бы, нарушает негласную волю самого Гаспарова, который отказывался включать популярные произведения в прижизненные собрания сочинений.

Дело в том, что Михаил Леонович профессионально сформировался в послевоенной гуманитарной среде, которая серьезно пострадала от погромных кампаний конца 1940-х годов. Стремясь оградить себя от идеологической индокринации и профанации академического знания, гуманитарии формулировали принципы «высокой» — по сути позитивистской — науки, которая не приемлет демагогии и бездоказательности. Это была вынужденная и во многом оправданная стратегия, но ее оборотной стороной стало пренебрежение к популяризаторству, которое было отдано на откуп дилетантам. Тем ученым, которые тяготели к просветительству, приходилось скрывать свои «дурные» наклонности, дабы избежать цехового осуждения. Напомню, каким суровым упрекам со стороны многих коллег подвергся Ю.М. Лотман за свои блистательные телевизионные «Лекции о русской культуре», как порицали А.Я. Гуревича за то, что он слишком много публикуется и читает факультативные лекции в разных учебных заведениях и т.п. Симптоматично, что принесшие Гаспарову славу в широкой читательской среде «Занимательная Греция» (написанная еще в 1970-х годах), «Записи и выписки», «Экспериментальные переводы» и «творчество» Ящука появились в постсоветское время,

когда произошли известная демократизация гуманитарной жизни и частичное ослабление академической замкнутости.

Если из нашего времени непредвзято посмотреть на вышеупомянутые произведения, а также на популярные статьи Гаспарова из энциклопедий, антологий и труднодоступных изданий, то они представляют собой блестящие образцы подлинно научных текстов, «переведенных» на неспециализированный язык, но при этом лишенных и тени банализации смысла. Включение их в собрание сочинений очень обогащает содержание каждого тома, а главное — наглядно показывает эволюцию научной мысли Гаспарова: как разработка в академических статьях определенных тем и мотивов постепенно кристаллизуется в монографиях, а затем в сжатом виде перетекает в популярное изложение.

Таким образом, в этом проекте предпринята попытка представить читателю максимум разнообразных и в то же время очень цельных в единстве взгляда, подхода, ракурса трудов М. Л. Гаспарова. К сожалению, даже в шесть больших томов невозможно уместить весь необъятный корпус текстов, созданных ученым за долгие годы работы, поэтому данное собрание сочинений никак не может претендовать на звание полного, оно, по замыслу его создателей, лишь стремится быть наиболее репрезентативным. Чтобы как-то компенсировать отсутствие многих важных трудов Гаспарова, каждый том будет сопровождаться библиографией — списком текстов, которые по разным причинам не вошли в содержание книги (библиографию к двум «античным» томам см. во втором томе). Сводный именной указатель читатель сможет найти в шестом, завершающем томе собрания сочинений.

Разумеется, этот проект — лишь первое приближение к глубокому изучению творчества М. Л. Гаспарова в контексте развития отечественной гуманитарной мысли XX века, это приглашение российского интеллектуального сообщества к серьезному разговору о социальной роли и функции современного академического знания.

Для меня же лично (как издателя многих работ Михаила Леоновича) данное собрание сочинений — это дань уважения большому ученому, примирившему гуманитарную науку с художественным творчеством и соединившему Касталию с профанным миром.

Я хочу выразить огромную благодарность всем членам научной редколлегии проекта, предложившим оригинальную концепцию собрания сочинений, и особую признательность Алевтине Михайловне Зотовой, хранительнице наследия М. Л. Гаспарова, так бесконечно много сделавшей для продвижения его творчества.

*Ирина Прохорова*

## О МИХАИЛЕ ГАСПАРОВЕ

Михаила Леоновича Гаспарова не стало в 2005 году. Остались научные труды: десятки книг и сотни статей по истории античной литературы и стиховедению; переводы с древних и новых языков; захватывающе интересные книги для детей («Занимательная Греция», «Капитолийская волчица», «Занимательная мифология»), которые с удовольствием читают и их родители; а еще удивительная, трудноопределимая по жанру (причудливый сплав дневниковых заметок, воспоминаний и литературно-критических эссе) книга для взрослых, которую с пользой для себя прочтут дети, когда вырастут, — «Записи и выписки».

Русскую и не только русскую поэзию Гаспаров знал как никто, и наряду с глубокой разработкой сложных теоретических проблем стиховедения, а в последние годы лингвистики стиха он много внимания уделял и практическим разборам отдельных стихотворений. Он говорил, что делает это сам для себя, чтобы дать себе отчет, почему такой-то текст производит на нас эстетическое впечатление, ответить на вопрос, как сделано стихотворение. Когда речь идет о разборе простых стихотворений, это называется «анализ», когда о разборе сложных — «интерпретация». По его словам, он намеренно избегал поисков «подтекста» — скрытых реминисценций поэта из других стихов, ограничивался только тем, что прямо дано в тексте и воспринимается даже неискушенным читателем, и старался останавливаться там, где искушенный читатель может сам перейти к более широкому обобщению. Главной заботой для него было описать очевидное, а это не так просто, как кажется. Некоторые из этих монографических разборов позже использовались в курсах лекций по анализу поэтического текста, прочитанных в МГУ и РГГУ.

В этом далеко не полном собрании сочинений М. Л. Гаспарова мы попытались собрать — помимо некоторых наиболее интересных монографий — разбросанные по разным книгам, журналам, лекциям, докладам (для коллег, студентов, старшеклассников) разборы конкретных стихотворений, от более простых к более сложным. Даже анализ «ясных» — привычных, хрестоматийных стихов Пушкина, Лермонтова, Фета — приводит порой к неожиданно широкому выводу, а искусная гаспаровская интерпретация позволяет понять самые «темные» поэмы и стихотворения Хлебникова, позднего Брюсова, Цветаевой, Пастернака, Мандельштама. Поэтому нам кажется, что эта книга

будет полезна и интересна не только специалистам-филологам, но и всем тем, кто просто любит стихи и хочет понять их.

Несомненно, заинтересуют читателя и статьи о сложных отношениях С. Я. Маршака с меняющимся временем, об объявленном советской критикой «фокусником и формалистом» талантливом поэте Семене Кирсанове, и небольшие эссе о малоизвестных и забытых поэтах, в том числе о Вере Меркурьевой, которую Михаил Леонович буквально открыл, разыскав в ЦГАЛИ никогда не печатавшиеся стихи и письма этой талантливой поэтессы.

Познакомились мы с Михаилом Леоновичем, тогда, конечно, просто Мишей Гаспаровым, в десятом классе, в литературном кружке при филологическом факультете МГУ. Кружок, куда приезжали десятиклассники со всей Москвы, занимался на четвертом этаже старого, с Герценом и Огаревым, университетского здания на Моховой. Другой корпус — через улицу, с куполом и облокотившимся на большой глобус во дворе Ломоносовым, назывался «новым», хотя уже достраивалась высотка на Ленинских горах. В университете школьников поразили широкая, но крутая лестница из ребристых железных плит со стертыми, стесанными за двести лет до скользкого блеска, даже чуть вогнутыми посередине ступенями, и крошечные, куда меньше школьного класса, комнатухи, гордо именуемые аудиториями. На следующий год мы поступили в МГУ, Миша — на классическое отделение филфака, я — на только что открывшийся факультет журналистики. Филфак был на четвертом этаже, а журналистика — на первом. На переменах мы бегали друг к другу повидаться, а после занятий подолгу просиживали на широком лестничном подоконнике, и он читал удивительные, певучие стихи неизвестных мне раньше поэтов — Белого, Гумилева, Мандельштама. В первый раз я ошиблась, сказала: «Мандельштамп», — он поправил, но не смеялся.

На втором курсе мы поженились (и прожили вместе больше 50 лет), на пятом у нас родилась дочка Алена, а через 8 лет сын Владимир, которого в семье звали Димой. Дочь впоследствии стала детским психологом, а сын в какой-то мере пошел по стопам отца. В 2020-м году он умер от коронавируса, тоже оставив богатое литературное наследство: стихи, прозу, переводы, пьесы. Но писал он, чтобы не путали с отцом, только под псевдонимом Илья Оказов, к сожалению незарегистрированным, и теперь нет официальных доказательств его авторства, что делает невозможным издание всех этих работ. Кроме переводов и небольших рассказов в газетах и журналах он сумел выпустить только одну большую книгу «Аббасидские байки. Багдадские халифы и их подданные», похожую на «Занимательную Грецию», но не на греческом материале, который нам хоть отчасти известен, а на арабском.

Университет мы окончили в 1957 году. М. Л. начал работать в Институте мировой литературы младшим научным сотрудником (с зарплатой 105 рублей), а я — редактором в научно-издательском отделе одного полувоенного института.

Первой публикацией Михаила Гаспарова стала в 1958 году напечатанная в «Вестнике древней истории» статья «Зарубежная литература о принципате Августа». Затем в этом же журнале и в выходявших тогда же в Издательстве АН СССР первых томах «Истории римской литературы» появился ряд других его статей.

В 1962 году вышла первая большая книга его переводов басен малоизвестных тогда у нас античных поэтов Федра и Бабрия, а вслед за тем «Жизнь двенадцати цезарей» Светония, «Басни Эзопа», «Поэзия вагантов» и ряд других интереснейших переводов, снабженных комментариями и увлекательными вступительными статьями об этих авторах и их времени, которые читатели найдут в первых двух томах настоящего издания.

Первой большой научно-популярной (а вернее, научно-художественной, если можно так назвать этот жанр) книгой стала «Занимательная Греция». Выходила она очень трудно: рукопись приняли в «Детгизе», очень хвалили, и пролежала она там почти 20 лет (никак не могли подобрать нужных иллюстраций), пока автор сам не забрал ее из издательства. По тем временам — дело неслыханное, смотреть на это сбежались сотрудники со всех трех этажей.

Тут как раз кончилась советская власть, развалилось книжное дело — издавать книги стало рискованно. Рукопись побывала в четырех или пяти издательствах. У некоторых даже не было своего помещения, и приходилось решать все вопросы и согласовывать правку в вестибюле Ленинской библиотеки или даже в метро, прерываясь на шум каждого проезжавшего поезда. Занималась этим в основном я после основной работы. Мы с мужем сами подбирали иллюстрации из всех доступных книг, добывали фото музейных греческих ваз и пр., находили специалистов, которые делали черно-белые и цветные слайды. С остальным оформлением (буквицы, концовки, шмуцтитулы) нам помогала замечательная художница Татьяна Ивановна Алексеева. Всего набралось более 300 иллюстраций, но основная их часть, к сожалению, не вошла в книгу (за исключением двух подарочных экземпляров, выпущенных позже издательством «Фортуна»). Наконец в 1995 году многострадальную «Занимательную Грецию» удалось издать совместными усилиями «Греко-латинского кабинета Ю. А. Шичалина» и издательства «Новое литературное обозрение» («НЛО»), но только с простейшими графическими рисунками и собственноручно начерченными Михаилом Леоновичем картами, благо, предвидя трудности с картинками, он изначально старался писать так наглядно, чтобы и без картинок было понятно. Впоследствии книга неоднократно (более 15 раз) переиздавалась «НЛО» и другими издательствами, включая зарубежные.

А вообще 1995 год был богат для нас событиями: вышла после всех мытарств «Занимательная Греция» и там же, в «НЛО», «Избранные статьи» (с тремя разделами: «О стихе», «О стихах», «О поэтах»), отмеченные позже малой Букеровской премией. Еще до этого, в 1994 году, М. Л. Гаспарову была

присуждена Государственная премия Российской Федерации (за «Русский стих 1890–1925 годов в комментариях» и переводы Авсония, вышедшие в 1993 году). Позже он был удостоен еще нескольких литературных премий: Андрея Белого (1999, за «Записи и выписки»), им. Бориса Пастернака, а также академической премии им. А. С. Пушкина (2004, за трехтомник «Избранные труды»).

Так дальше и шло: росли дети, потом внуки; из Института мировой литературы М.Л. перешел в 1990 году в Институт русского языка АН (в сектор стилистики и языка художественной литературы) и по совместительству с 1992 года работал в Институте высших гуманитарных исследований при РГГУ; от младшего научного сотрудника он дорос до действительного члена Российской академии наук. Менялись страна и условия для научной работы: появилась возможность выезжать с курсами лекций и на научные конференции за рубеж (в Принстон, Стэнфорд, Лос-Анджелес, Вену, Пизу), а главное — выходили все новые и новые книги. Я не буду на них останавливаться, в настоящем издании читатель найдет список его избранных трудов, а всего их (вместе с посмертными публикациями) 623 названия.

В большинстве этих книг (кроме уж совсем специальных) я была редактором, читала и правила бесчисленные корректуры, сверяла таблицы и т.д. Но больше всего я довольна тем, что уже после смерти Михаила Леоновича мне удалось издать несколько его неопубликованных книг, таких как «Капитолийская волчица. Рим до цезарей» (я нашла ее в маленьком блокнотике, исписанном вдоль, поперек и наискосок мельчайшим «гаспаровским» почерком, простым карандашом, почти стершимся за 40 лет), «Занимательная мифология», отличающаяся от всех других тем, что едва ли не впервые представляет греческую мифологию не как собрание разнородных героических сюжетов, а как единую историю отношений между богами и людьми, и два тематических сборника: «Филология как нравственность. Статьи, интервью, заметки» и «Ясные стихи и „темные“ стихи. Анализ и интерпретация», а также собрать разбросанные по разным труднодоступным журналам и газетам его научные и публицистические статьи, интервью и даже его собственные стихи, сохранившиеся в компьютере и записных книжках.

А главной наградой для меня стало посвящение во втором издании «Записей и выписок», над которым М.Л. работал до последних дней, уже в больнице. Вышло оно уже после его смерти, тоже в «НЛО». На отдельной странице, сразу после титула, там написано:

*Моей жене  
Алевтине Михайловне Зотовой  
с благодарностью за всю жизнь  
и на всю жизнь*

*А. М. Зотова*

# СЛОЖНАЯ «ПРОСТОТА» МИХАИЛА ГАСПАРОВА

## ПРЕДИСЛОВИЕ К I И II ТОМАМ

Новое собрание трудов Михаила Леоновича Гаспарова открывается двумя томами его работ о древности: античности и средневековье. Это само по себе вполне понятно; главная причина здесь чисто хронологическая. Наследие Гаспарова огромно и покрывает весьма объемные и протяженные пласты русской и европейской культуры, но для них обеих античность — естественный и неотъемлемый исток, без которого немислимы явления куда более современные, как поэзия столь любимых Гаспаровым Манделштама, Брюсова или Анненского. Разумеется, это довольно банальный трюизм, но в трудах Гаспарова многие простые истины предстают как-то по-новому свежо и потому по-новому убедительно. Как кажется, для него эта связь времен всегда была очень важна, и не случайно его первым шагом в осмыслении классических литератур стала курсовая работа на втором курсе МГУ, сравнивавшая комедии Аристофана с «Мистерией-буфф» Маяковского. Понятно, что в «Записях и выписках» этот студенческий опыт представлен с максимальной иронией (а когда Гаспаров вообще писал о себе без нее?): как самонадеянная заносчивость юности, о которой ныне «страшно подумать» и от которой уже на следующем курсе он счастливо «опамятовался»<sup>1</sup>. Но сам этот выбор кажется чрезвычайно показательным — и его отзвуки можно уловить во многих уже вполне зрелых работах Гаспарова, от анализа риторических топосов в прозе Чехова до скрупулезного разбора античных метров в русской поэзии. Для него важность античности для современности — это не просто общая декларация, но и (как любой предмет его исследований) повод для максимально пристального разбора конкретных и важных деталей и механизма этой рецепции, не абстрактный лозунг, а естественная суть разбираемых явлений.

Естественность помещения античности и средневековья в начало собрания трудов подкрепляется еще и тем, что хронологическое первенство древних эпох для Гаспарова — это не просто историческая данность, но еще и факт личной биографии. О многогранности его научного наследия писали

<sup>1</sup> Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 311.

многократно; и действительно, в нашей филологической науке существует по крайней мере три Гаспарова: специалист по античности (медиевистика, правильно или нет, чаще всего воспринимается как некое естественное продолжение его классических штудий), по сути создатель и главная фигура в отечественной школе стиховедения — невероятно сложной науки, лежащей на грани литературоведения и лингвистики, и, наконец, один из наиболее тонких интерпретаторов и комментаторов русской поэзии. И это только в рамках того, что традиционно причисляется к «чистой» гуманитарной науке, — а ведь огромную часть его наследия составляют переводы самых различных авторов самых разных эпох; да и среди его академических работ немало того, что трудно уложить в эту трехчленную структуру и скорее следует отнести к истории и теории (если избегать не очень им почитаемой «философии») гуманитарного знания в целом. И если проследживать эволюцию Гаспарова-ученого, то вплоть до конца 1980-х годов в нашем гуманитарном сообществе его знали прежде всего (если не исключительно) как филолога-классика, и уже потом его отчасти вытеснил и даже затмил Гаспаров-стихoved и Гаспаров-комментатор Мандельштама и Пастернака.

Эту научную метаморфозу Михаил Леонович в своих автобиографических заметках и интервью стремился объяснить прежде всего внешними и как бы «приземленными» причинами: античность была той областью, которая в наибольшей степени была защищена (в силу отдаленности предмета) от советского идеологического диктата, и потому тут можно было спокойно заниматься тем, что интересно и нравилось, а главное, так, как было интересно и нравилось. «Античность не для одного меня была щелью, чтобы спрятаться от современности. Я был временно исполняющим обязанности филолога-классика в узком промежутке между теми, кто нас учил, и теми, кто пришел очень скоро после нас. Я постарался сделать эту щель попросторнее и покомфортнее и пошел искать себе другую щель»<sup>1</sup>. В этих словах сквозит явное желание показать условность и даже вынужденность данного периода своей научной биографии; совсем не случайной (учитывая, как тщательно Гаспаров выбирал слова) кажется другая фраза о том, что он провел в античном секторе Института мировой литературы ровно «тридцать лет и три года» — по мысли автора, видимо, набираясь сил, как былинный богатырь, для своих главных свершений. Многим коллегам-античникам памятли частые разговоры о том, что он не ученый-классик, а в лучшем случае популяризатор и переводчик (к этой теме мы еще вернемся); а в его интервью, данном уже в начале 2000-х студентам кафедры античной культуры РГГУ, замечательно и то, как он сравнивает «свое время» в классической филологии с «их временем», причем сравнивает как бы на равных, и то, сколь решительно звучит

<sup>1</sup> Там же. С. 314.

«нет» в ответ на вопрос, следит ли он за тем, что делается в данный момент в классической науке<sup>1</sup>.

Конечно, в объяснении выбора античности «условиями среды» есть своя правда; этой логикой и впрямь руководствовались многие, занятия древностью в советскую эпоху были не только «бегством от современности», но и своего рода интеллектуальной фрондой. Конечно, в этих простых объяснениях звучит и свойственное Гаспарову подчеркнутое самоуменьшение. В ораторском искусстве соответствующая риторическая фигура именуется литотой — и известно, что в иных случаях она, как раз напротив, подчеркивает важность описываемого явления. И кажется, что занятия античностью и средними веками для Гаспарова стали первым этапом не только в чисто хронологическом смысле, не только «первым по порядку», но, хотя бы отчасти, и «первым по значению» (разделение, тоже взятое из античных риторических теорий). Если взглянуть на то, какие предметы и каких авторов он в этой области выбирал, а главное, на саму манеру и те формы, в которых он об этих предметах и авторах говорил, то становится заметным, что выработанные в этот период методы и приемы сохранились и во многих последующих его трудах на совершенно другие темы. И именно они делают разных Гаспаровых одним.

Одна из наиболее известных цитат Гаспарова: «Филология — наука понимания». К филологии классической она применима, быть может, в наибольшей степени. Изучение мертвых языков — что это, как не постижение того, что в принципе неизвестно никому и поэтому и есть суть языка вообще? Изучение текстов древних культур — что это, как не попытка приблизить нас к авторам, отстоящим от нас на сотни и тысячи лет, «перевести» на язык современного читателя то, что в принципе кажется «непереводимым»? А именно в таком переводе и состоит, по Гаспарову, самая суть филологии. Поэтому можно сказать, что занятия античностью — это альфа и омега его филологического метода, одновременно и первые опыты в нем, и его квинт-эссенция. В конце концов, филология вообще выросла из филологии классической; Михаил Леонович повторил этот путь науки в целом в становлении той ее составляющей, которую можно назвать филологией «гаспаровской».

Именно стремление к пониманию и стало основой и стимулом в занятиях Гаспарова античностью. Он многократно подчеркивал, что предпочитал латинские тексты и римскую культуру греческой прежде всего в силу того, что она ему была понятнее, — но, конечно, в обычной своей самоуничижительной манере объяснял это своей «неспособностью» к языкам, и поскольку латинский язык понятнее и легче, он ему и больше подошел. «Я рано привязался к пути наименьшего сопротивления, латинских авторов для собственного

<sup>1</sup> М. Л. Гаспаров. О нем. Для него. Статьи и материалы / Сост., предисл. М. Акимовой, М. Тарлинской. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 315–334.

удовольствия понемножку читал, а от греческих уклонялся». Никак нельзя принять всерьез эти резоны от переводчика Пиндара, Парменида и Аристотеля, но, пожалуй, во всех подобных его рассуждениях ключевое слово «проще». Латинский язык «проще» — с этим вообще-то можно поспорить, но важно то, что в изучении античности Гаспарова тянуло к «простоте», понятности, которую он поначалу нашел именно у римских авторов. Что же означает эта «простота»?

Как кажется, ее наиболее адекватным синонимом является ясность. Сравнивая себя с одной из символических фигур старшего поколения, А. Ф. Лосевым, Гаспаров писал: «Его античность — большая, клубящаяся, темная и страшная, как музыка сфер. Она и вправду такая; но я поэтому вхожу в нее с фонарем и аршином в руках, а он плавает в ней, как в своей стихии, и наслаждается ее неисследимостью»<sup>1</sup>. Гаспаровский «фонарь» здесь — метафорическое воплощение этой тяги к ясности; она стала целью всего его научного пути, вплоть до комментариев к наиболее «темным» стихам Пастернака и Мандельштама. Но в начале этого пути он настойчиво искал ее именно в античных текстах, ведь не случайно «ясность» была провозглашена одним из главных достоинств художественного стиля именно античной теорией ораторского искусства, которой Михаил Леонович много занимался, замечательно и сжато представив ее понятийный аппарат в статье «Античная риторика как система»<sup>2</sup>.

Помимо «фонаря», для достижения ясности и понимания нужен «аршин». Именно желание «измерить» неуловимое — особенности воздействия и восприятия художественного, прежде всего поэтического, текста — впоследствии ляжет в основу его подхода к поэзии современной и прежде всего его стиховедческих подсчетов, но оно же явственно ощущается и в его антиковедческих статьях. Пожалуй, наиболее яркий пример — это «Сюжетосложение древнегреческой трагедии» с попыткой подробной многоуровневой классификации всех сюжетных структур и механизмов сохранившихся текстов; степень ее исчерпанности и убедительности спорна, но здесь прежде всего важен сам принцип. Принцип, кстати, как представляется, почерпнутый из самой античности, точнее, из «Поэтики» Аристотеля, так же стремившегося разложить трагедию на составные части, из сочетания которых и возникает единое целое. То же стремление восстановить сколько-нибудь ясную структуру в труднорасчленном художественном целом очевидно в «Строении эпиникия» с его «семью способами краткого, „неотвлекающего“ и четырьмя способами пространного, „отвлекающего“ разнообразия эпиникийной хвалы» (с. 424), иллюстрированными схемой развертывания пиндаровской оды и классификацией различных типов мифологического рассказа. В том же

<sup>1</sup> Гаспаров М. Л. Записи и выписки. С. 185.

<sup>2</sup> Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 1. О поэтах. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 556–586. В настоящем издании статья будет опубликована во втором томе.

ряду — и объемная статья, посвященная композиции «Поэтики» Горация, где Гаспаров, во многом следуя очень популярной тогда в западной науке тенденции, пытается реконструировать структуру поэтического учебника эллинистического ученого Неоптолема, по свидетельству комментаторской традиции, послужившего основой для «Послания к Пизонам». Надо сказать, что и у западных коллег, и у самого Гаспарова эти реконструкции вышли не очень убедительными: все же «Наука поэзии» — больше поэзия, нежели наука, но опять-таки характерно настойчивое желание за причудливой чередой порой чисто ассоциативных предписаний и примеров уловить неумолимую последовательную логику технического руководства.

Перечисленные работы (а их ряд может быть легко продолжен, например, «Неполнотой и симметрией в „Истории“ Геродота») — пример поиска простого в сложном. Не случайно, по словам самого Гаспарова, именно после работ о «Поэтике» Горация он «навсегда остался в убеждении, что нет такого хаоса, в котором нельзя было бы найти порядок; с этим потом и работал всю жизнь над любым материалом»<sup>1</sup>. При этом стоит обратить внимание на одну особенность: почти всегда этим аналитическим поискам «алгебры в гармонии» сопутствуют и опыты воссоздания самой «гармонии», то есть перевода тех текстов, о которых идет речь или которые послужили важным источником для исследования. Прозаический перевод «Послания к Пизонам» (редкая сама по себе форма, которой очень не хватает в отечественной традиции) присутствует уже внутри самой статьи о его композиции, а далее, в полном издании Горация, Гаспаров дает уже собственную поэтическую версию; кроме того, поиск эллинистического научного прототипа «Науки поэзии» заставляет его обратиться к переводу пятой книги трактата Филодема «О поэтических произведениях», в которой единственный раз в античной традиции кратко описывается учение Неоптолема, предполагаемого образца для Горация. Статья об эпиникии неразрывно связана с переводами Пиндара, а работа о структуре трагического сюжета очевидно вытекает из перевода «Поэтики». Перевод может предшествовать аналитической статье, а может, напротив, становиться ее дополнительным прояснением, в том числе и много лет спустя: так, еврипидовские «Орест» и «Электра» в переводе Гаспарова, с их последовательной лексической и метрической простотой, позволяют с особой силой подчеркнуть и вывести на первый план трагическое переживание, патос, который в статье выделяется в качестве «основного элемента структуры трагедии»<sup>2</sup>. Перевод античных памятников у Гаспарова может быть и отправной точкой, и итогом исследования, но, главное, он всегда является сутью этого исследования, цель которого — понять и прояснить древний текст и для читателя, и для самого себя.

<sup>1</sup> Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 1. О поэтах. С. 164.

<sup>2</sup> Там же. С. 450.

Нельзя забывать об этом, когда сталкиваешься с еще одной как бы подчеркнуто «заниженной» самооценкой Гаспарова-античника: «какой я ученый, я переводчик». «Переводя, читаешь текст внимательнее всего: переводы научили меня античности больше, чем что-нибудь иное»<sup>1</sup>. И надо сказать, что именно переводы Гаспарова, поражающие своим объемом и разнообразием жанров, «научили античности» огромную читательскую аудиторию, в том числе и ту, для которой древность не являлась сферой ни профессиональных занятий, ни даже специального интереса, — научили именно потому, что являлись плодом его замечательного искусства: «науки прояснения». Неслучайно он сам называл наиболее интересным опытом в данной области перевод тех авторов, с которыми он «меньше всего чувствовал внутреннего сходства», — Пиндара и Овидия — то есть тех, кого изначально совсем не понял и старался «объяснить» и для себя, и для окружающих. Именно поэтому, наверное, среди его переводов особенно запоминаются самые «темные» тексты — тот же Пиндар или, скажем, Аристотель, где неуклонное желание понять лаконичные фразы «Поэтики» заставляют Гаспарова последовательно давать в тексте дополнения «от себя». И очень похоже, что именно этот экспериментальный опыт прояснения античного текста мог стать толчком к реализованной много лет спустя идее объясняющего перевода «с русского на русский».

Стремление к максимальной ясности как нельзя ярко проявилось и еще в одном жанре, неизбежно сопутствующем переводу античных памятников, жанре, в котором Гаспарову не было и нет равных. Это вступительная статья (иногда послесловие) — форма невероятно сложная из-за своей пограничности между аналитикой и популяризацией. Но именно в силу поразительной естественности сочетания этих двух сторон в самом Гаспарове его предисловия поистине образцовы. И образцовость эта достигается в том числе за счет еще одного свойства как его стилистики, так и научного подхода в целом. Это достоинство стиля — тоже, кстати, почерпнутое из руководств по античной риторике — краткость, способность выразить главное свойство описываемого предмета максимально сжато и выпукло, а оттого — ясно. Здесь достаточно заметить, как навсегда врезаются в память сами заглавия его предисловий. В «Вергилии, или Поэте будущего» одновременно заключен и провиденциальный пафос «Энеиды», и феномен четвертой эклоги, и образ Вергилия-пророка в культуре средневековья и Возрождения. В «Овидии, или Науке доброты» — и мягкий юмор «Искусства любви» и «Любовных элегий», и потрясающее «очеловечивание» мифологии в «Героидах» и «Метаморфозах». Зачастую в этих кратких названиях скрыт ответ на серьезный научный вопрос: так, «Катулл, или Изобретатель чувства» помещает утверждение лирики как особой литературной формы именно в Рим I века до н. э., причем формы,

<sup>1</sup> Гаспаров М. Л. Записи и выписки. С. 312.

удивительно естественно встраивающей личное переживание («чувство») в искусно выстроенную риторическую («изобретение») оболочку. И именно в этом жанре чрезвычайно востребованной оказывается столь свойственная Гаспарову тяга к систематизации и классификации: в «пестроте» катулловского сборника последовательно прослеживается взаимодействие трех типов стихов: любовных, хулильных и учено-мифологических, — которые в итоге складываются в единую картину.

Прояснить сложное — это одна из главных задач Гаспарова-античника; но поиск простоты заставляет его как-то по-особому любить и ценить подчеркнута простые жанры: басню, эпиграмму. Он сам признается, что всю жизнь хотел, но так и не успел написать историю античного анекдота, и неслучайно в его переводе «Жизнеописаний» Диогена Лаэртского именно анекдотические части биографий знаменитых философов запоминаются куда ярче, чем изложение их сложных учений (что вполне соответствует и жанру самого памятника). Так же не успел он и довести до конца комментированный перевод «Мифологической библиотеки» Аполлодора — еще одного примера ученого собрания расхожих сюжетов. С одной стороны, все эти жанры для Гаспарова — важное доказательство того, что простота была исконно присуща самой античности как в выработке литературных форм, так и в осмыслении собственной истории и культуры. С другой — здесь ему по-прежнему важно показать, что простота рождается из сложности. И здесь все те же систематизация и классификаторство создают уже обратную перспективу: за чередой кратких и немудреных басенных рассказов встает сложная структура сборника с различными типами сентенций, а один и тот же сюжет, повторенный разными авторами в разное время, приобретает совершенно различное звучание. В итоге на первый взгляд предельно ясный жанр становится «перекрестком», своеобразным сцеплением разных литературных форм, короткая басня приобретает функциональный объем, схожий с, казалось бы, своей противоположностью — античным романом.

Сложность и простота — вот два полюса гаспаровской античности; упомянутые им самим в качестве наиболее чуждых и потому интересных авторов Пиндар и Овидий их во многом олицетворяют. Именно так, похоже, следует понимать повторяющиеся рассуждения Михаила Леоновича о «сложной» Греции и «простом» Риме. В латинской литературе он скорее хотел продемонстрировать сложность простоты; как он сам точно заметил, говоря о судьбе Катулла в европейской культуре, «за популярность есть расплата: упрощенность»<sup>1</sup>. В Греции, напротив, он искал ясности и простоты — что в причудливых метрических схемах Пиндара, что в загадочных в своей краткости фразах Аристотеля. И именно поэтому вместо так и не написанной

<sup>1</sup> Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 1. О поэтах. С. 82.

научной работы о технике греческого анекдота он решил переложить в анекдоты всю историю греческой культуры. Получилась «Занимательная Греция», «думаю, что самое полезное, что я сделал по части античности»<sup>1</sup>. И вот с этой (пусть и, как всегда, иронически поданной) самооценкой Гаспарова нельзя не согласиться, и далеко не только потому, что этот бестселлер придал его имени невиданную ранее популярность за пределами профессионального сообщества. «Занимательная Греция» своей «неслыханной простотой» воплощает самую суть подхода Гаспарова: то, что из уст любого другого античника было бы воспринято как упрощенческая «ересь», у него предстает естественным продолжением или даже пиком всего его научного пути.

Именно поэтому мы и открыли собрание антиковедческих и медиевистических трудов М.Л. Гаспарова «Занимательной Грецией»; именно поэтому в каждом из разделов этих двух первых томов собственно аналитическим статьям сопутствуют более популярные после- и предисловия, а большинство тем и авторов вдобавок проиллюстрированы переводами. Эти три стороны его занятий древностью не просто дополняют друг друга; они нераздельны — точно так же, как в его собственном описании из трех разных Катуллов рождается один, неделимый, одновременно простой и сложный.

\* \* \*

М.Л. Гаспаров не считал себя медиевистом и никогда не числил медиевистику среди своих специальностей. При этом Средними веками занимался, и немало. Особенно много переводил: средневековая литература уступает, пожалуй, лишь античной по объему сделанных им переводов. Написал меньше: помимо работ, включенных в настоящее издание, — многочисленные справки об авторах для «Памятников средневековой латинской литературы», заключительная часть одного из предисловий к тому же изданию и две главы для второго тома «Истории всемирной литературы», одна из которых вышла в свет за тремя подписями (С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, Р.М. Самарин). Медиевистика — это 1970–1980-е годы, после сборника «Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье» (1986), в котором Гаспаров участвовал обширной статьей «Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и риторики», он к этой эпохе почти не возвращался.

Занялся средневековьем Гаспаров, возможно, не по собственному желанию. Сектор античной литературы ИМЛИ, в котором Гаспаров работал, начал во второй половине шестидесятых годов своего рода экспансию на смежные территории — свои по языкам, чужие по времени культуры. В 1968–1969 годах вышли в свет два тома «Памятников византийской литературы»,

<sup>1</sup> Гаспаров М.Л. Записи и выписки. С. 314.

в 1970–1972-м — два тома «Памятников средневековой латинской литературы». Был подготовлен и третий том, о латинском XIII веке, но тут грянул скандал, начальству не понравилось, как пишет Гаспаров, «обилие упоминаний о Господе Боге»<sup>1</sup>. Гаспарову, который как раз в промежутке между выходами двух латинских томов стал заведующим сектором, пришлось каяться (что он сделал в предельно официозной и предельно издевательской форме)<sup>2</sup>, но третий том так никогда и не был опубликован. Кто был инициатором этого выхода за границы античности, установить сейчас уже затруднительно, может быть, М. Е. Грабарь-Пассек, у которой к таким темам был интерес (главная ее книга посвящена античным сюжетам и формам в постантической литературе), но так или иначе первые опыты Гаспарова в области медиевистики (и не только первые) относятся к так называемым «плановым», или коллективным, работам. Так что закончилась работа в ИМЛИ — закончилась и медиевистика. Но при этом такие работы он вовсе не считал в своем послужном списке каким-то балластом, о котором лучше как можно быстрее забыть. Наоборот. Вспоминая об имлийских коллективных трудах, Гаспаров вспомнил и о В. Шкловском и его словах, что «время умнее нас, и поденщина, которую нам заказывают, бывает важнее, чем шедевры, о которых мы только мечтаем. Я тоже так думаю»<sup>3</sup>.

Начальство настоужилось недаром. Значение «Памятников средневековой латинской литературы» заключается в числе прочего в том, что о средневековой культуре впервые заговорили другими словами, спокойными, без обязательного обличения мракобесия и обскурантизма — разительный контраст с ситуацией десятилетней давности, с изданием Абеяра в «Литпамятниках», к примеру. Конечно, «Памятники...» были в этом отношении не одиноки, но они были одними из первых («Категории средневековой культуры» А. Я. Гуревича и «Средневековая латинская литература Италии» И. Н. Голенищева-Кутузова — это 1972 год, «Французский рыцарский роман» А. Д. Михайлова — 1976-й), а в отношении «поповской литературы» — так прямо первыми («До этого о такой поповской литературе вообще не полагалось говорить»)<sup>4</sup>. Гаспаров в статье, открывающей серию его медиевистических работ, писал, что монастыри были самым жизнеспособным социальным организмом Западной Европы, что они были тесно связаны с народной жизнью, что в них обновилась латинская и родилась немецкая и французская литература<sup>5</sup>, —

<sup>1</sup> Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 1. О поэтах. С. 399.

<sup>2</sup> Гаспаров М. Л. Записи и выписки. С. 253.

<sup>3</sup> Там же. С. 312.

<sup>4</sup> Там же. С. 252.

<sup>5</sup> Гаспаров М. Л. Каролингское возрождение // Памятники средневековой латинской литературы IV–IX веков. М.: Наука, 1970. С. 233.

Б.Л. Сучков, директор ИМЛИ (лучший из тогдашних директоров, «умный и незлой», по признанию самого Гаспарова), объяснял работникам сектора, что в европейских монастырях процветало людоедство<sup>1</sup>.

Конечно, некоторые приметы «советского» дискурса в работах Гаспарова дают о себе знать. Даже в статье о вагантах (1975), которая плановой не была (хотя выросла из плановой — из гаспаровского добавления к статье Грабарь-Пассек во втором томе «Памятников средневековой латинской литературы»), мы встречаем и «буржуазных ученых», отрицавших творчество безымянных бродячих поэтов, и классовую вражду, и замечание об отсутствии у вагантов социальной опоры, и образцовый до пародийного марксизм в таком, например, утверждении: «Конечно, культурный переворот был лишь последствием социально-политического, а социально-политический — последствием экономического»<sup>2</sup>. Но, во-первых, «Поэзия вагантов» создавалась в то время, когда шум по поводу «Памятников» еще не утих, редакторский надзор нигде не делся (а в «Вагантах» было к чему придаться, в том числе и по части «поповской литературы») и надо было усиленно маскироваться, а во-вторых, социальный контекст Гаспаров никогда не был склонен игнорировать (вспомним его признание, что дух времени ему доступен «лишь через материалистический черный ход»)<sup>3</sup>. И, разумеется, ни в каком присяжном советском медиевистическом опусе нельзя и вообразить такой, к примеру, «материалистический» тезис, при всем его, казалось бы, прямолинейном социологизме: «Классическая схоластика — такое же порождение новой городской культуры, как и классическая мистика»<sup>4</sup>. Городскую культуру было принято оценивать положительно, схоластику и мистику — обличать.

Эта цитата — из статьи для несостоявшегося третьего тома «Памятников средневековой латинской литературы». Есть еще статья С.С. Аверинцева для него же. Вряд ли том с самого начала задумывался с двумя предисловиями; скорее всего, статья Гаспарова возникла или как замена, или как дополнение к статье Аверинцева — когда надежда все-таки пробить этот том в печать еще сохранялась. Поэтому социальной истории в ней много даже для Гаспарова, но все равно общность материала дает уникальную возможность оценить разницу подходов: Аверинцев к духу времени приходит совсем другими путями.

В редакционной врезке к первому тому (неподписанной, но по стилю — явно написанной Гаспаровым) обозначена задача: современный читатель совсем не знает средневековой латинской литературы, она небезынтересна,

<sup>1</sup> Гаспаров М.Л. Записи и выписки. С. 253.

<sup>2</sup> Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. 1. О поэтах. С. 356.

<sup>3</sup> Гаспаров М.Л. Записи и выписки. С. 313.

<sup>4</sup> Гаспаров М.Л. Тринадцатый век: общество и литература // Вопросы литературы. Май–июнь. 2016. С. 49.

издание его с ней познакомит. Но чтобы снять ожидаемые претензии, этого мало (да и не удалось), поэтому сказано, что время, когда средневековые изображалось как сплошная темная полоса, как эпоха кромешного мракобесия, давно прошло. Оно, это время, что показали дальнейшие события, не прошло — не прошло тогда, не прошло в значительной степени (в массовом сознании и в журналистских клише) и по сей день. Однако задачу свою издание выполнило: после него — не сразу, но вскоре — говорить о Средневековье как о культурном провале стало попросту неприлично, по крайней мере в профессиональной среде.

Гаспаров, рассуждая о соотношении двух своих главных специальностей, антиковедения и стиховедения, ссылаясь для его иллюстрации на детскую картинку: мишка (стиховедение) ловит рыбу из реки и складывает в ведерко, зайка (антиковедение) ловит из мишкиного ведерка<sup>1</sup>. Медиевистика — это, конечно, еще один зайка (то есть в качестве медиевиста автор работает с материалом «исследованным и переисследованным»). Можно ввести еще одно разграничение, уже внутри антиковедческих работ: работы обзорно-обобщающие (где предшественников очень много) и работы исследовательские (где предшественников очень мало). Медиевистику Гаспарова нужно, конечно, отнести к первому типу (ко второму — разве что только статью о поэзии Иоанна Секунда, единственный случай, когда Гаспаров ушел так далеко не только от античности, но и от средних веков). Это, однако, ни в коем случае не обрекает их на вторичность. И дело даже не в том, что в процессе «переупаковки чужого» возникают «оригинальные мысли» — как в предисловиях к античным классикам<sup>2</sup>. Они действительно возникают: например, о вагантах как о первых европейских интеллигентах<sup>3</sup> (мысль, которую Гаспаров будет развивать применительно к русской интеллигенции уже в статьях постсоветского времени, — из первого издания ее, кстати, выкинули). Но главное, в статьях этого типа Гаспаров демонстрирует, и, может быть, нагляднее, чем где-либо еще, одну из главных характеристик своего научного мышления и научного стиля: умение разложить сколь угодно обширный и разнородный материал по рубрикам и подрубрикам и выстроить его в стройной логической последовательности. В процессе такой «переупаковки» возникают не только новые мысли, но и новые связи и новые смыслы. Возникает и неотразимая в своей яркости и убедительности картина литературной истории.

Гаспаровский стиль не спутаешь ни с каким другим. «Три признака характерны для начинающегося к концу XII века кризиса овидианского гуманизма...», «три истока питали вагантскую поэзию...» — сразу видно, что эта часть

<sup>1</sup> Гаспаров М. Л. Записи и выписки. С. 315.

<sup>2</sup> Там же. С. 313.

<sup>3</sup> Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 1. О поэтах. С. 359.

совместной статьи написана Гаспаровым. И жаль, кстати (при всем уважении к М. Е. Грабарь-Пассек), что она не написана им вся и что не все статьи в «Памятниках средневековой латинской литературы» написаны им — мы бы тогда имели полную гаспаровскую историю средневековой латинской литературы, как благодаря «Истории всемирной литературы» (не самому безукоризненному труду) имеем историю литературы древнеримской, как благодаря «Проблемам литературной теории в Византии и латинском средневековье» имеем продленную за пределы античности историю риторики и поэтики (одна из главных для Гаспарова тем).

Не всем этот гаспаровский подход нравился. Некоторые считали его недопустимым упрощением — и применительно к большим литературным эпохам, и применительно к маленьким лирическим стихотворениям. Но сам Михаил Леонович этого слова не боялся, поскольку считал, что упрощать картину мира — это и есть задача науки. Хочешь заниматься ее усложнением — выбирай другую профессию.

*Н. П. Гринцер, М. Л. Андреев*

## НЕПОЛНОТА И СИММЕТРИЯ В «ИСТОРИИ» ГЕРОДОТА

В предлагаемой заметке речь пойдет о композиционном принципе, важность которого для греческой архаики давно замечена и признана, — о симметрии. С какой тщательностью и выверенностью используется он в самых различных произведениях, от «Илиады» до Эсхила (если не до Платона), — прослеживалось не раз. Значение симметрического построения в «Истории» Геродота тоже не новость для исследователей. В итоговой книге Дж. Майрса<sup>1</sup> едва ли не главное внимание уделено разбору симметрии отдельных эпизодов «Истории», причем автор помогает читателю и целой лестницей типографских отступов в росписи плана, и даже рисунками, где история Писистрата и Тегейской войны представлены в виде фигурок, расположенных симметрично, как на фронте. «Фронтонная композиция» — выражение, которое давно уже стало литературоведческим термином.

Конечно, при всем внимании к этой проблеме здесь выявлено еще далеко не все. Если обратить внимание на пропорции объемов у Геродота, можно обнаружить много незамеченного. Вот пример: ряд чисел 278, 438, (315), 534, 755, 545, 437, 246. Они симметрично, с одним нарушением в скобках, располагаются вокруг самого большого. Что это такое? Это число тейбнеровских строчек (в формате старого издания Дитча, где длина строки, как в античном свитке, приблизительно равнялась стиху гексаметра), приходящихся на эпизоды лидийского и мидийского логоса: Лидия до Креза, Лидия при Крезе, завоевание Лидии, затем — вершина фронтона, самый большой эпизод, чудесная молодость и воцарение Кира, и потом второй скат: завоевание Ионии, завоевание Вавилона и завоевание массагетов, неудавшееся. А что такое 315 в скобках?

<sup>1</sup> Myres J. Herodotus, the father of history. Oxf., 1953; из позднейшей литературы важнее всего для рассматриваемой темы книга: Wood H. The Histories of Herodotus: formal structure. The Hague, 1972; из старой — классическая статья: Jacoby F. // Pauly's Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft. Splbd 2. Sp. 1908, там же (§ 26) — история вопроса. Обзор современных взглядов на Геродота в книге: The Classical World Bibliography of Greek and Roman history / Ed. W. Donlan. N.Y.; L., 1978.

Это гл. 53–70, афинские и спартанские дела, о которых наводит справки царь Крез: это вставной эпизод как в тему, так и в пропорции лидийского логоса. Мы видим: лидийский и мидийский логосы не просто положены рядом, но и сочленены пропорциями эпизодов — порознь в них нет симметрии, а вместе есть. В египетском логосе нет центральной части, но боковые части образуют пропорцию (гл. 2–34, 35–98, 99–146, 147–182): 530 строк — география, 968 — этнография; 942 — древняя история, 592 — новая история Египта (причем  $530 + 968 = 1528$  почти в точности равно  $942 + 592 = 1534$ ). То же и в скифском логосе (с пропуском отступления об Аристее): 269 строк — история скифов, 246 — этнография, 146 — география мира, 149 — география скифов, 245 — опять этнография, 141 — скифы и греки, а затем переход к походу Дария. Придавать этим цифрам преувеличенное значение, конечно, не нужно; но они полезны, когда мы смотрим, как у Геродота большие эпизоды складываются из малых эпизодов, и решаем, какие эпизодоразделы здесь сильнее: очевидно те, которые не противоречат намечающейся симметрии.

Однако все это относится только к симметрии эпизодов. Композиция «Истории» Геродота в целом такой симметричной раскладке не поддается. У нее исполински затянувшееся начало, описывающее Восток до греко-персидских войн, и резко обрубленный конец среди описания первых греческих побед 478 года после Платеи и Микале. Известно, к какой разногласице между учеными приводит это необычное построение: именно из-за него так живучи были взгляды «разделителей», считавших, что Геродот сперва написал ряд отдельных очерков о восточных странах, а потом, задумав написать историю греко-персидских войн, вставил их туда как готовые куски. Сейчас это представление в чистом виде все больше выходит из моды.

Есть и другое возможное объяснение необычных пропорций «Истории» Геродота, и оно напрашивается почти само собой. Это — предположение, что сочинение Геродота недописано. Такую возможность допускали многие ученые XIX — начала XX века, последними из крупных были Ф. Якоби и У. фон Виламовиц. Сейчас и это представление вышло из моды: почти все современные исследователи — от ветерана Дж. Майрса до молодого Г. Вуда — принимают а priori, что Геродот задумал и выполнил свою «Историю» в том самом виде, в каком мы ее читаем. Психологически такое отношение к проблеме вполне понятно: во-первых, вообще приятнее думать, что мы читаем полного Геродота, а не недописанный обломок его замысла; а во-вторых, при исследовании структуры и связности текста (а именно в этом направлении сейчас Геродот изучается всего интенсивнее) важно быть уверенным, что перед тобой находится законченный отдельный текст с началом, серединой и концом и все проблемы можно решать, не выходя из пределов этого текста. Поэтому такое предположение условно принимается за аксиому, а потом условность забывается и остается только аксиома.

Вот эту уверенность в полноте и законченности геродотовского текста мы и хотели бы поставить под сомнение. Попробуем вернуться к старой гипотезе о том, что «История» Геродота недописана, и посмотрим, насколько она подтверждается нашими новыми знаниями о Геродоте.

Прежде всего: почему не удовлетворяют современных исследователей представления Якоби и Виламовица о незаконченности сочинения Геродота? Ответ: потому что они недостаточно решительны. И Якоби и Виламовиц полагали, что Геродот недописал самую малость, вроде эпилога — скажем, до образования Афинского морского союза 478/477 года, и на этом тема была бы исчерпана, греко-персидские войны в узком смысле слова завершены, и началась бы другая тема — афинской морской экспансии. Это любопытная психологическая аберрация: нам кажется, что Геродот должен был поставить точку там, где она стоит у нас в учебнике, тогда как на самом деле у нас в учебнике она стоит на 478 годе только потому, что там оборвал свой рассказ Геродот. Нам кажется, что греко-персидские войны и вправду кончились отражением персов и созданием морского союза, а все, что было потом, до Каллиева мира 449 года, — это лишь затяжной тридцатилетний постскриптум. На самом деле это, конечно, не так. Военные действия продолжались, а с ними продолжалась и тема, заявленная Геродотом: «великие и удивления достойные дела эллинов и варваров, особенно же причины, по которым они друг с другом воевали» (I, pr.).

Вспомним геродотовское представление о закономерностях течения мировых событий. Есть два уровня связи между явлениями — на одном действуют люди, на другом вмешиваются боги. На человеческом уровне это простое сцепление смежных действий: А обидел В, В выместил обиду на С, С привлёк на помощь D и стал мстить В и т. д., пока последний действующий не уничтожит своего противника или не выживет его в невозвратное изгнание. Вся история Геродота сплетена именно из таких событийных нитей: на одном конце неспровоцированный первопроступок, αἰτία, ἀρχή потом волна его последствий, а потом замирение или катастрофа. Для греческой перенаселенной тесноты, где толчок на одном конце страны легко докатывался до противоположного и где взаимоистребительная логика кровной мести напоминала о себе на каждом шагу, это была вполне естественная картина мира. Это — на человеческом уровне. А на божественном уровне к этому добавляется еще надзор за мерой: чтобы никакая волна в этой череде не вставала слишком высоко; если это происходит, то божество восстанавливает равновесие: обычно — естественным образом, просто способствуя очередному противодействующему-мстителю, в особенных же случаях — вмешиваясь непосредственно, как, например, в вещем сне Ксеркса, толкнувшем его к катастрофе. Интерес Геродота к истории — это интерес, во-первых, к мотивам человеческих поступков (как правило, своекорыстным), а во-вторых, к угадыванию

того предначертанного божественного плана, в который эти поступки должны укладываться (реконструкция будущего по оракулам).

История греко-персидских войн была для Геродота благодарнейшим образцом для демонстрации именно такой картины мира. Она сплеталась из множества нараставших и затухавших причинно-следственных последовательностей; и она сама представляла собой такую последовательность сперва нарастания (от более мелких и дальних причин к более непосредственным и важным), потом кульминации (в решающем столкновении греков с варварами при Ксерксе) и потом затухания (до самого исхода войны, кончающейся, по-современному говоря, вничью). Началась война с нарушения естественных границ между Европой и Азией, с нарушения естественного сосуществования между греками и варварами, а кончалась война восстановлением нарушенных рубежей, разделом моря и утверждением принципа взаимного невмешательства, закрепленного Калиевым миром (как ни смутны для нас подробности этого мира). Такой конец войны был идеально симметричен началу: только он придавал законченность, выделенность той серии событий, которую объявил своим предметом Геродот. Начав такой дальней завязкой, как история Кандавла и Гигеса, он должен был кончить, вероятнее всего, такой дальней развязкой, как Калиев мир и прекращение военных действий. Это не новая гипотеза, в XIX веке ее выдвигал А. Кирхгоф. Но в XX веке она была незаслуженно забыта, ссылки на нее иссякли, а между тем именно те исследования структуры событий у Геродота, которые появились в XX веке, добавляют ей новой убедительности.

Если мы примем гипотезу, что замыслом Геродота было довести «Историю» до Калиева мира 449 года, — кстати, и путешествия Геродота, дававшие ему материал, могли начаться только с этого времени, — то фронтоная симметрия построения будет полной. В центре фронтона — кульминационные события Ксерксовой кампании; ось симметрии — Саламин; по две стороны от него — Фермопилы с Артемисием и Платея с Микале; еще дальше по сторонам — пролог этих событий, Марафон, где победил Мильтиад, и, по-видимому, эпилог этих событий, Евримедонт, где победил сын Мильтиада Кимон; и, наконец, по краям — нарастание предшествующих событий и угасание последующих событий. Маятник истории успеваешь качнуться от мира к войне и опять к миру — можно вспомнить чередование эпох Любви и Вражды в одновременной космологии Эмпедокла. Если замысел Геродота можно сравнить с фронтоном, то перед нами, так сказать, две трети этого фронтона: левое крыло и середина. Правое крыло осталось недоделанным, но если мы будем помнить о нем, то нам будет гораздо яснее гармония недоделанного.

Заметим, что симметрия фронтоной середины выдержана здесь даже количественно: осевая часть, Саламин, занимает 36,5 тейбнеровских страниц, а по сторонам ее — Фермопилы с Артемисием — 60,5 страниц и Платея

с Микале — 63 страницы. Для сравнения укажем, что мидийский логос в I книге занимает 62 страницы, «самосско-персидский» в III книге — 61,5 страницу, скифский в IV книге — 69 страниц, а рассказ об ионийском восстании в V–VI книгах — 65 страниц: видимо, такой объем был для Геродота осущимой единицей повествования, вроде прозаической «рапсодии». Как чередуются такие полномерные эпизоды с неполномерными (вроде ливийского логоса в 26 страниц и фракийского в 11 страниц) — это еще предстоит исследовать. Но уже сейчас при некоторой смелости можно прикинуть, сколько места могло понадобиться Геродоту, чтобы довести повествование до Каллиева мира: не менее трех нынешних (вымеренных александрийскими грамматиками) книг.

Чем и как могло быть заполнено недоделанное правое крыло Геродотова исторического фронтона? Здесь начинается область гадательного: серьезные гипотезы, конечно, невозможны, но некоторая игра воображения может быть позволительна и даже бесполезна.

Насколько мы знаем греческую историю V века, Геродоту предстояло представить в любом случае одно большое событие и три больших лица. Остальное могло быть и могло не быть: очень может быть, при рассказе о восстании илотов 464 года Геродоту захотелось бы сделать отступление о прежних Мессенских войнах, и он, наверно, описал бы их не хуже, чем Риан и Павсаний, но может быть, и нет; точно так же не стоит прикидывать, куда бы мог поместить Геродот свой дважды обещанный (I, 106 и 184) ассирийский логос. Интерес представляет не это.

Главнейшее событие второй половины греко-персидских войн — это египетская катастрофа афинян в 454–450 годах. Мы реже о ней думаем, чем о Марафоне и Саламине, но это только потому, что она не нашла себе такого художника, как Геродот. Это было событие не меньшего масштаба, чем сорок лет спустя сицилийская экспедиция, и с такими же большими последствиями. Для Геродота это должно было быть важным эпизодом в смене взлетов и падений его истории: Персия при Ксерксе вознеслась свыше меры и была укрощена поражением от греков, греки в свою очередь после победы возгордились свыше меры, тоже нарушили границу Европы и Азии и были укрощены египетской катастрофой — все точь-в-точь по предостережению Солона Крезу, что людское величие не бывает долговечным. Геродот, как известно, упоминает мимоходом (II, 140 и III, 15) Инара и Амиртея, вождей египетского восстания 462 года, но никаких подробностей о восстании и последующей войне не сообщает, хотя ясно, что сведений об этих недавних событиях у него было больше, чем о фараоне Хеопсе. Поэтому можно полагать, что рассказ об этом он отложил до его хронологического места и что на этом месте, незадолго перед концом «Истории», он был бы симметричен египетскому логосу II книги вскоре после начала «Истории» — в полном согласии с требованиями фронтовой композиции.